

Глава 3. Концентрация человеческих ресурсов и зерна. Рабство и поливное рисоводство

“ Это правда, я признаю, что оно [королевство Сиам] больше моего, но и вы должны согласиться с тем, что король Голконды [Индия] правит людьми, тогда как король Сиама — лишь лесами и комарами.

— Из обращения короля, Голконды к посетителю из Сиама, примерно 1680 год

Государство как центростремительная демографическая машина

Основа политической власти в досовременной Юго-Восточной Азии — концентрация рабочей силы. Она была основным принципом государственного строительства и лейтмотивом истории практически всех доколониальных царств региона. Государственное пространство формировалось максимально легко в тех случаях, когда в наличии были значительные по площади плодородные равнины, орошаемые постоянными водными потоками, а еще лучше — расположенные вблизи судоходных водных путей. Проследивая вглубь истории логику формирования государственных пространств, можно определить, чем политические системы, богатые территориями, но испытывающие недостаток человеческих ресурсов, отличаются от систем, имеющих мало земель и много рабочей силы.

Грубо говоря, общая формула звучит примерно так: политическое и военное господство нуждается в постоянном и легком доступе к скоплению человеческих ресурсов. Концентрация рабочей силы, в свою очередь, возможна только в условиях компактного оседлого земледелия, а выполнить его агроэкологические требования в Юго-Восточной Азии до XX века могло только поливное рисоводство. Отмеченные взаимосвязи отнюдь не однозначно детерминированы, хотя рисовые поля проще создавать и сохранять в речных долинах и на хорошо орошаемых плоскогорьях. Но они, возможно, потому и создавались на

крутых горных склонах благодаря потрясающим по затраченным усилиям подвигам террасирования — там, где меньше всего можно было ожидать их появления, например у народа хани в верховьях Красной реки во Вьетнаме, у ифугао в Северном Лусоне и на Вали. Существуют и экологические ниши, пригодные для рисоводства, где, однако, оно не возникло. Также, как уже было показано, нельзя считать неизменной взаимосвязь рисоводства и государства: последнее легче создать вокруг центра поливного рисоводства, но существуют и подобные центры без государств, а иногда и государства без них. Таким образом, политическое значение поливного рисоводства состоит в том, что это наиболее удобный и типичный способ концентрации населения и продовольствия. Вез крупного центра производства риса обеспечивать эту концентрацию приходилось другими средствами, например рабовладением, сбором пошлин на торговых путях или грабежом.

Необходимость и в то же время сложность концентрации населения были демографически обусловлены: плотность населения в материковой части Юго-Восточной Азии составляла лишь седьмую часть таковой в Китае в 1600 году. Как следствие, в Юго-Восточной Азии контроль над населением сводился к контролю над территориями, тогда как в Китае, наоборот, контролировать территории означало контролировать население. Обилие пахотных земель в Юго-Восточной Азии стимулировало подсечно-огневое земледелие, тот тип сельского хозяйства, который давал высокие урожаи при меньших затратах труда и гарантировал семьям значительные излишки. Но то, что было выгодно земледельцам, категорически не вписывалось в амбиции стремящихся к государственной власти. Подсечно-огневое земледелие требует куда больше земель, чем поливное рисоводство, а потому способствует рассеянию населения; там, где оно доминирует, «оно устанавливает верхний предел плотности населения примерно в 20–30 человек на квадратный километр»[133].

И вновь мы возвращаемся к тому, что концентрация — ключ ко всему. Богатство государства имеет мало значения, если его потенциальные излишки рабочей силы и зерна рассеяны, и собрать их сложно и дорого. Как заметил Ричард О'Коннор, «политическая власть нередко определяется эффективностью, а не размерами территорий или богатством... Поливное рисоводство создавало сильные государственные центры... Оно способствовало не только большей плотности населения, но и более легкой мобилизации живущих в этих центрах сельских жителей»[134]. Само название северного тайского королевства — Ланна, «миллион рисовых полей» — прекрасно отражает эту одержимость сбором налогов и концентрацией рабочей силы.

Условия жизни в процветающих центрах поливного рисоводства, соответственно, благоприятствовали формированию того, что можно назвать идеальным населением досовременного государства. Главная характеристика этого идеального мира — высокая плотность оседлых земледельцев, которые ежегодно производят значительные излишки зерна. На протяжении многих поколений тяжело трудясь на своих рисовых полях, они вряд ли были склонны легко сняться с места. Но важнее то, что они и их рисовые поля были зафиксированы в пространстве, учтены, обложены налогами, подлежали военному учету и были всегда под рукой. Для двора и государственных чиновников это очевидные преимущества[135]. Признавая данный процесс «собирания», Жорж Кондоминас ввел термин *emboitement* («контейнеризация» или «связывание в узел» — наверное, лучшие варианты перевода) для описания эволюции тайских муангов[136]. Для «идеального

подданного», в отличие от подсечно-огневого земледельца, проживание на «государственном пространстве» в состоянии «закрепленности» означало дополнительные и зачастую непредсказуемые покушения на его труд, зерно, а в случае войны — и саму его жизнь.

Успешные государства в досовременной Юго-Восточной Азии постоянно стремились собрать необходимое им население и удержать его на месте. Демография им в этом не способствовала. Стихийные бедствия, эпидемии, неурожаи, войны, не говоря уже о вечно манящих границах, постоянно угрожали шатким государствам. Китайское руководство по управлению, написанное более чем тысячелетие назад, когда китайская демография также не благоприятствовала государственному строительству, четко обозначило эту угрозу: «Если народ рассеян и не может быть удержан, город-государство превращается в груды руин»[137]. Археологи, работающие в Юго-Восточной Азии, не испытывают недостатка в подобных грудях.

Точно оценить соотношение социальных и экономических сил, удерживающих воедино эти агломераты власти или, наоборот, разрывающих их на части, чрезвычайно сложно по двум причинам. Во-первых, оно было исключительно нестабильно во времени и пространстве, меняясь из года в год и от региона к региону. Война, эпидемия, череда хороших урожаев, голод, крах торгового пути, сумасшедший монарх, гражданская война между претендентами на трон могли склонить чашу весов в ту или иную сторону. Во-вторых, мы должны быть предельно осторожны, интерпретируя хроники королевских дворов и даже местные летописи, которые сильны в идеализации династий и слабы в предоставлении точной информации[138]. Если принять их за чистую монету, то придется признать, что «даруемый королем мир», процветание, религиозное покровительство и божий промысел притягивали и привязывали критическую массу людей к государственному центру. Даже если воспринимать этот образ с огромной долей недоверия, следует все же признать, что он не абсолютно ложен. Обнаружено множество свидетельств того, что короли и государственные чиновники убеждали поселенцев возделывать рисовые поля, предоставляя им оборотный капитал в виде зерна и рабочего скота и на время освобождая их от налогов. Так, например, бирманский чиновник недалеко от Пегу хвастался в 1802 году в своем отчете о доходах, что он «кормил и поддерживал тех, кто был рад переехать из отдаленных городов и деревень в безлюдные районы в высоких джунглях и густых зарослях»[139]. Мирное и процветающее государство действительно привлекало переселенцев из беспокойных мест отовсюду — они надеялись спокойно заниматься земледелием, работать и торговать вблизи столицы. Именно это изображение в основном мирной и постепенной концентрации прежде безгосударственного населения, которое привлекал яркий и процветающий королевский двор, нарративно конструируется династическими хрониками и современными школьными учебниками, идеализирующими доколониальные государства. По сути, это глубоко искаженный нарратив. Он ошибочно принимает исключения за правило; он не способен объяснить частые крушения доколониальных царств; и, в первую очередь, он игнорирует принципиальную роль, которую войны, рабство и насилие играли в создании и поддержании подобных царств. Если я пренебрежительно отзываюсь о случаях, когда общепринятая трактовка процветающих династий имеет смысл, то только потому, что подобные моменты в истории обросли легендами, сравнительно редки и искажают базовые черты государственного строительства в материковой части Юго-Восточной Азии.

Хотя демография и открытые границы снижали эффективность прямого насилия, тем не менее очевидно, что использование силы было инструментом создания и сохранения «густозаселенных скоплений», от которых зависело существование государства[140]. Концентрация населения посредством войн и набегов работоторговцев часто рассматривается как фундамент социальной иерархии и централизации, характерных для первых государств[141]. Самые мощные царства постоянно стремились пополнять и увеличивать свой запас человеческих ресурсов, насильно переселяя военнопленных, десятками тысяч покупая и/или похищая рабов. Человеческие ресурсы, которые могло мобилизовать государство, были основным показателем его мощи и точно так же определяли статусные позиции чиновников, аристократии и религиозных орденов, соперничавших, чтобы заполучить больше подчиненных, крепостных и рабов. Контекст многих королевских указов, если читать эти тексты между строк, выдает усилия заставить население центра государства не сниматься с места и одновременно намекает на их тщетность. Раз большинство указов XVIII века касается беглых крепостных, то можно уверенно предположить, что бегство крепостных было широко распространенной проблемой. Аналогичным образом количество указов, запрещающих подданным покидать или изменять место жительства, прекращать занятия сельским хозяйством, — хороший индикатор того, что правители были озабочены проблемой беглецов. На большей части материка на тела подданных наносились татуировки, а иногда и клейма, указывающие их статус и принадлежность конкретному хозяину. Сложно сказать, насколько подобные меры были эффективны, но они отражают попытку насильственно удержать население центра государства на месте.

Всепоглощающее желание собрать и удержать население в сердце государства прослеживается во всех аспектах государственного строительства в доколониальную эпоху. То, что Гирц пишет о балийских политических конфликтах — они были «скорее борьбой за людей, чем за территории», — вполне характеризует ситуацию во всей материковой Юго-Восточной Азии[142]. Этот принцип составлял суть стратегии ведения военных действий, которые были призваны обеспечить не столько захват отдаленных территорий, сколько пленение как можно большего числа людей, которых можно переселить в центральные районы. По этой причине войны не были особо кровопролитными. Зачем бы кому-то понадобилось уничтожать главного приз победителя? Подобная логика ведения войн была особенно характерна для аграрных государств внутри материка, которые в большей степени зависели от сельскохозяйственного производства в центре страны, чем от выгод торговли с отдаленными регионами. Но даже рабовладельческие и торговые государства на полуостровной части Юго-Восточной Азии были преимущественно заняты захватом и удержанием человеческих ресурсов. Первые европейские чиновники нередко изумлялись предельно размытым границам территорий и провинций в своих новых колониях и не понимали логики управления населением, мало или вообще не связанной с территориальной юрисдикцией. Как британский инспектор Джеймс Маккарти «изумленно отметил: „это был характерный обычай [Сиам] — разделение власти над людьми и над территорией“». Тонгчай Виничакул в своей проницательной работе показал, что правители Сиам уделяли больше внимания людям, которых они могли призвать на службу, чем суверенитету территорий, не имевших никакой ценности без рабочей силы[143].

Приоритетность контроля над населением, а не над территориями прослеживается в управленческой терминологии. Тайские чиновники носили титулы, прямо указывающие на количество людей, которое они теоретически могли мобилизовать: Кун Пан — «правитель тысячи подданных», Кун Саен — «правитель сотни тысяч подданных», а не «князь такого-то и такого-то места», что было характерно для Европы[144]. Обозначения местностей на подчиненной Бангкоку территории в конце XVIII века, по сути, соответствовали их потенциалу в эффективной мобилизации рабочей силы. Таким образом, был сформирован своеобразный рейтинг провинций по критерию снижения политического влияния Бангкока: провинции четвертого класса прямо подчинялись Бангкоку, его контроль в провинциях первого класса был крайне слабым (например, в тот период сюда входила Камбоджа). Размер провинций соответствовал некоей стандартизированной общей оценке того количества рабочей силы, которое она с большой вероятностью могла предоставить в случае необходимости. Отдаленные провинции, где власть Бангкока была незначительной, отличались одновременно большим размером и низкой заселенностью; идея была в том, чтобы каждая провинция предоставляла примерно одинаковое число подданных для работы и войны[145].

В конечном счете первостепенное значение человеческих ресурсов определялось военными соображениями. Захват плодородной рисовой долины, известного храмового комплекса, пропускного пункта на жизненно важном торговом пути не имел особого значения, если их невозможно было удержать. Этот простой факт составляет суть анализа власти в досовременных политических системах. В отличие от модели Локка, где богатство порождает власть, а потому первейшая обязанность государства — защитить жизнь и собственность граждан, в досовременных системах только власть может гарантировать обретение собственности и богатства. А власть, до технологической революции в сфере вооружений, в значительной степени зависела от того, сколько человек правитель мог отправить в поход; иными словами, власть сводилась к подконтрольным человеческим ресурсам.

Описанная детерминация власти срабатывала на всех уровнях доколониальных политических систем в Юго-Восточной Азии. Князья, аристократия, купцы, чиновники, старосты деревень, все вплоть до глав домохозяйств занимали свои социальные позиции благодаря союзникам, на труд и поддержку которых они могли рассчитывать в случае необходимости. Суть этой модели хорошо выразил Энтони Рид: «Политический контекст той жизни был таков, что маленькому человеку было чрезвычайно опасно демонстрировать свое богатство, если он не обладал достаточным числом зависимых от него людей, которые бы его богатство защищали и легитимировали... Соответственно, капитал сначала следовало вложить в людей — покупая рабов, давая в долг нуждающимся, вступая в брачные и военные союзы и организуя пиршества»[146]. Любой стремящийся обрести власть в подобных условиях волей-неволей демонстрировал поведение, которое Локк назвал бы аномальным или распутным. Макиавелли предложил бы здесь стратегию окружения себя максимально возможным количеством обязанных тебе союзников, что потребовало бы разумной щедрости в подарках, ссудах и пирах. Некоторых союзников можно было просто купить. Как отмечал путешественник XVI века, народ Малакки верил, что «лучше иметь рабов [хотя лучше перевести данное слово как „крепостных“], чем землю, потому что рабы — защита своих господ»[147].

Я утверждаю скорее не то, что рабочая сила была богатством, а то, что она была единственным надежным способом его сохранить. Можно возразить — и это убедительно делает Рид, — что морская и сухопутная торговля были куда более прибыльными, чем выжимание излишков из оседлых крестьян, даже в XVI и XVII веках. В основном аграрное государство в Верхней Бирме тоже сильно зависело от налогов и сборов, которыми обложило ценные товары, направлявшиеся на рынки Китая, Индии и других стран, благодаря своему стратегическому положению на реке Иравади[148]. Подобные товары легко хранились, высокая стоимость единицы веса и объема (как, например, опиум сегодня) более чем компенсировала затраты на их транспортировку. Однако чтобы пожинать плоды столь прибыльной торговли, государство должно было отстаивать свою монопольную позицию на реке или на горном перевале или в случае необходимости доказать свое право на сбор дани — в любом случае основным средством борьбы опять была рабочая сила.

Именно решающее преимущество в человеческих ресурсах, как утверждает Виктор Либерман, в течение длительного времени определяло доминирование «аграрных» царств Юго-Восточной Азии над ее морскими державами. «В эпоху ограниченной военной специализации, когда количество призванных на службу земледельцев составляло лучший и единственный индикатор военного успеха, север [Бирмы] стал естественным центром политической власти», — пишет Либерман. «В центре материка и на острове Ява мы можем найти пригодные для земледелия сухие, но орошаемые земли, которые очень рано стали демографически доминировать над более влажными морскими районами»[149]. Говоря схематично, со временем кучка крупных морских держав (Шривиджайя, Пегу, Малакка) поглотила своих более мелких морских соперников, а их самих, в свою очередь, поглотили небольшие аграрные конкуренты (Вьентьян, Ланна, Чиангмай). Все, что мы знаем об искусстве государственного строительства в Аве и Аюттхаве, говорит о постоянных, но далеко не всегда успешных усилиях сохранить высокую плотность населения в центре страны и по возможности увеличить ее[150].

Охарактеризованные выше процессы прекрасно согласуются с большей частью написанного о государственном строительстве и политической консолидации в Европе. Здесь тоже столь метко названные Чарльзом Тилли «богатые насилием, но бедные капиталом» «прибрежные» аграрные государства и империи (например, Россия, Бранденбург-Пруссия, Венгрия, Польша и Франция) использовали свое демографическое преимущество, обычно имевшее решающее значение, для победы над морскими соперниками (Венецией, Нидерландами, Генуей, Флоренцией). Менее зависимые от нестабильной торговли, более иерархически организованные, более изолированные от кризисов продовольственных поставок и способные прокормить довольно внушительные армии, эти аграрные государства могли проиграть битву и даже войну, но сохраняли свое доминирующее политическое положение на протяжении длительного времени[151].

Роль населения как принципиально важного элемента государственного строительства находит множество подтверждений в поговорках и предостережениях, которыми наполнена придворная литература Юго-Восточной Азии. Нигде более приоритетность человеческих ресурсов по сравнению с территорией столь ярко не выражена, как в эпиграмме, датируемой раннебангкокским периодом в истории Сиам: «Иметь очень много людей [как подданных правителя] лучше, чем иметь очень много травы [невозделываемой земли]»[152].

Эта эпиграмма почти дословно воспроизводится в бирманской Хронике Стеклянного Дворца, составленной примерно в это же время: «Да, почва, но без людей. Почва без людей — лишь пустошь»[153].

Другие сиамские поговорки подчеркивают, что мудрое правление состоит в том, чтобы одновременно предотвращать бегство людей из центра страны и привлекать новых поселенцев для обработки земли:

“ В большом доме со множеством слуг дверь можно без опасений оставлять открытой; в маленьком доме с несколькими слугами двери следует закрывать.

“ Правитель должен давать своим преданным чиновникам назначения выезжать за пределы дворца и должен убеждать их селиться в обжитых районах, чтобы эти земли богатели[154].

Распад государства, в свою очередь, расценивался как неспособность монарха мудро управлять населением. Наставление королевы Соу бирманскому королю Нарахихапату прекрасно это иллюстрирует: «Оцени положение королевства. Нет у тебя ни подданных, ни людей... Твои соотечественники и соотечественницы медлят и не войдут в твое царство. Вот почему я, твоя верная слуга, говорю тебе о прошлом, хотя ты и не хочешь внимать мне... Говорила тебе не утомлять живот страны твоей, не унижать чело ее». Роль войны как формы соперничества за контроль скорее над земледельцами, чем над пахотными землями, очевидна и в восхвалении сиамского военачальника, который не только подавил восстание, но и доставил ко двору пленников: «И с того дня всегда посылал их Анантатурию, когда бы ни обнаруживались где-либо воры, головорезы, бунтовщики или восстания на границах страны или в королевских лесных угодьях. И куда бы тот ни направлялся, захватывал он множество своих врагов живыми и приводил их к королю»[155]. Но даже в случае отсутствия подобных явных свидетельств ключевое значение для верховной власти человеческих ресурсов прослеживается повсеместно в постоянном акцентировании роли так называемого политического антуража. Общепринято, когда бы чиновник ни упоминался в официальной придворной хронике, перечислять достижения и знаки отличий его последователей[156]. Когда бы ни фиксировалась в хрониках победная военная кампания, акцент делался на округленном числе выживших пленников, дошедших до столицы. И хотя здесь я в большей степени сфокусировался на свидетельствах из материковой части Юго-Восточной Азии, та же озабоченность заполучением человеческих ресурсов, чем чего бы то ни было еще, ярко представлена и на полуостровной части региона, особенно в малайском мире[157].

О императивом концентрации населения и зернового производства на самом деле сталкиваются все потенциальные создатели государств, вынужденные действовать в

ситуации изобилия свободных территорий и простейших военных технологий. Им нужно было изобрести какие-то приемы противодействия склонности простого люда рассеиваться по территории, чтобы использовать предоставляемые ею возможности охоты, собирательства и менее трудозатратных видов сельскохозяйственного труда. В наличии у правителей был целый набор действенных стимулов — от коммерчески выгодных обменов и надежных способов ирригации до участия в военных грабежах и обладания священным знанием. Однако обещанные выгоды государственной жизни должны были перевесить ее же тяготы — налоговые сборы, воинские повинности и эпидемии, которые всегда сопровождали жизнь государства, если увеличение населения достигалось мирными средствами. Впрочем, такой перевес случался редко, а потому повсеместным было использование силы, призванной дополнить, а зачастую и полностью заменить преимущества государственной жизни.

Здесь следует вспомнить, что политические системы классической Античности на западе, очевидно, были аналогичными системами принуждения. Как говорит нам Фукидид, Афины и Опарта боролись не за идеологию или этнос, а за дань, которая измерялась в количестве зерна и людей. Население капитулировавшего города редко вырезалось — чаще его граждане и рабы попадали в плен к победителю и конкретным солдатам, захватившим их. Если их дома и поля сжигались, то, скорее, чтобы предотвратить их возвращение[158]. Основным рыночным товаром в эгейском мире — более ценным, чем зерно, оливковое масло и вино, — были рабы. Афины и Опарта были рабовладельческими обществами, причем в Опарте, аграрном государстве, илоты составляли более 80 % населения. И в имперском Риме тоже главным товаром, который перевозили по прославленным римским дорогам, были рабы; государство обладало монополией на их покупку и продажу.

Китай и Индия, задолго до того как стали настолько заселены, что контроль за пахотными землями сам по себе гарантировал господство над страдающими от недостатка земли подданными, сталкивались с теми же проблемами государственного строительства. Примерно в то же время, когда шла Пелопонесская война, первые китайские государства делали все возможное, чтобы предотвратить рассеяние населения. Руководства по управлению государством предписывали королю запрещать все виды деятельности в горах и заболоченных землях, «чтобы повысить вовлеченность населения в производство зерна»[159]. Подтекст этой и иных рекомендаций правителю состоял в том, что при наличии выбора подданные забрасывали оседлое земледелие и боролись за удобный им образ жизни. Подобное сопротивление считалось аморальным. Раз государство обладает «верховой властью над горами и топями, то те простолюдины, что ненавидят сельское хозяйство, ленивы и жаждут двойной прибыли, нигде не смогут найти себе пропитания. Если им негде будет найти себе пропитание, они будут вынуждены заняться обработкой полей»[160]. Вполне очевидно, что цель подобной политики — под угрозой голодной смерти принудить население выращивать зерно и принять подданство, предотвратив его бегство на свободные территории. Но, судя по резкому тону рекомендаций, такая политика не всегда была успешной.

Дилемма государственного строительства в условиях низкой плотности населения находит свои более современные и поучительные воплощения на юге африканской Сахары. В 1900 году плотность населения здесь незначительно превышала таковую в Юго-Восточной Азии в

1800 году, вследствие чего концентрация населения в центре государств стала главной задачей доколониальной политики[161]. Эта тема пронизывает всю литературу, посвященную политической истории коренных народов: «Стремление обрести родственников, сторонников, подчиненных, вассалов и подданных и удержать их при себе как особый тип социального и политического „капитала“ нередко отмечалось в качестве специфической черты политических процессов на африканском континенте»[162]. Сходства здесь столь разительны, что многие пословицы о властных отношениях можно легко перенести на юго-восточно-азиатскую почву без особых смысловых потерь. Так, пословица народа шербро гласит: «Человек не может быть вождем, сидя в одиночестве». Взаимосвязь между расчищенными многолетними полями и формированием царств прослеживается в данном древнему малайскому царю совете: «Срезай деревья, превращай леса в поля, ибо только тогда станешь ты истинным государем»[163]. Как и в Юго-Восточной Азии, здесь были важны не столько четкие территориальные границы, сколько права господства над людьми, а не над территориями, за исключением ряда ритуальных мест. Соперничество за последователей, родичей и подчиненных также работало на всех уровнях социальной иерархии. Поскольку демография явно благоволила потенциальным подданным, их чаще соблазняли, чем заставляли селиться во владениях конкретного правителя. Относительная автономия подданных получила выражение в бесконечном приумножении титулов, в пиршествах, в быстрой ассимиляции и мобильности пленников и рабов, в специальной атрибутике и медицинских препаратах, использовавшихся для удержания слуг, и прежде всего в бегстве недовольных своей жизнью. Баланс сил, по мнению Игоря Копытоффа, давал подданным четкое понимание того, что именно им правитель обязан своим господством, а не наоборот[164].

Формирование государственных ландшафтов и подданных

“ Долины съедены налогами, а горы — почестями.

— Афганская пословица

В досовременную эпоху правителя в материковой части Юго-Восточной Азии в меньшей степени волновало то, что мы сегодня назвали бы валовым внутренним продуктом (ВВП) его царства, и в большей — то, что можно обозначить как «доступный государству продукт» (ДГП). До изобретения денег товары, которые доставлялись издалека, должны были быть достаточно ценными в расчете на единицу веса и объема, чтобы оправдать расходы на транспортировку. И такие товары имелись — например, ароматическая древесина, смола, серебро и золото, церемониальные барабаны, редкие лекарства. Чем большее расстояние они преодолевали, тем больше была вероятность, что они станут подарком или предметом добровольного обмена, поскольку способность двора присвоить их уменьшалась практически в геометрической прогрессии с ростом преодоленной ими дистанции. Самое существенное значение имели продовольствие, скот и рабочая сила, в том числе квалифицированная, которые можно было захватить и использовать. Доступный

государству продукт должен был легко поддаваться определению, контролю и подсчету (короче говоря, налогообложению), а также находиться достаточно близко географически.

Доступный государству продукт и валовой внутренний продукт — не просто разные, а во многих отношениях противоречащие друг другу вещи. Успешное государственное строительство всегда нацелено на максимизацию доступного продукта. ДГП не гарантирует правителю вообще никакой выгоды, если его номинальные подданные процветают за счет собирательства, охоты или подсечно-огневого земледелия на слишком отдаленных от дворца территориях. Он обеспечивает правителю незначительную прибыль, если его подданные выращивают широкий набор сельскохозяйственных культур с разными сроками вызревания или же культуры, которые быстро портятся, а потому их урожай сложно оценить, собрать и сохранить. Если у правителя есть выбор между хозяйственными практиками, которые достаточно неблагоприятны для земледельцев, но гарантируют государству высокие показатели зернового производства и рабочей силы, и практиками, которые выгодны земледельцам, но обделяют государство, то он всегда предпочтет первые. Тогда правитель максимизирует доступный государству продукт, причем, если это необходимо, за счет общего благосостояния царства и его подданных. Иными словами, досовременное государство стремилось организовать жизнь подданных и природный ландшафт таким образом, чтобы превратить свою территорию в предсказуемый источник ресурсов. Если ему это удавалось, то результатом в материковой части Юго-Восточной Азии был единообразный в социальном и агроэкологическом отношении ландшафт, основанный на поливном рисоводстве: Ричард О'Коннор назвал этот тип государства «рисовым»[165].

Основное преимущество поливного рисоводства заключается в том, что оно обеспечивает высокую плотность одновременно населения и зернового производства. Здесь следует подробнее остановиться на том, как именно поливное рисоводство закрепляет людей в пространстве. Ни одна другая культура не смогла бы обеспечить размещение такого количества людей на расстоянии трех-четырех дней пешего пути от царского двора. Высочайшая урожайность поливного рисоводства в расчете на единицу площади гарантирует беспрецедентные показатели плотности населения, а относительная стабильность и надежность, если ирригационная система функционирует без сбоев, — уверенность правителя, что население не сдвинется с обжитых мест. Нелегко забросить рисовое поле, учитывая, сколько лет труда в нем «утоплено» — на укрепление берегов рек, выравнивание, террасирование, строительство плотин и каналов. «Одна из основных проблем» королей Конбауна, как пишет Тант Мьинт У, — «получение центральной властью точной информации о количестве домохозяйств в конкретном населенном пункте»[166]. Ее можно назвать проблемой «учета» как неперемного условия доступности ресурсов[167]. По сравнению с жизненными практиками, которые способствуют рассеянию населения и автономии, социальная экология поливного рисоводства значительно упрощает решение этой проблемы, размещая достаточно стабильное и компактно проживавшее население прямо у порога сборщиков налогов и вербовщиков в армию.

Фиксированное расположение производства в условиях оседлого земледелия в рисовом государстве означало, что правитель и его свита из ремесленников и чиновников также могли где-то постоянно пребывать. Вез надежных и постоянных поставок продовольствия, фуража и дров королевскому двору пришлось бы постоянно менять свое местоположение,

чем и занимались дворы Англии и Франции в XIII веке, как только истощались запасы продовольствия (и терпения!) в каком-то районе. Численность ничего не производящей элиты, конечно, ограничивалась объемом излишков зерна: чем больше был центр государства, тем более многочисленной и хорошо обеспеченной была королевская свита. Только рисовое производство в значительных масштабах давало аграрному государству слабую надежду на выживание.

Выращивание только одной сельскохозяйственной культуры — само по себе важный шаг к учету и, соответственно, к присвоению. Монокультурное сельское хозяйство порождает единообразие на разных уровнях. В случае поливного рисоводства земледельцы были связаны примерно одинаковым ритмом производства. Они зависели от одних и тех же или же сопоставимых источников воды; они высаживали и пересаживали, пропалывали, собирали и обрабатывали свой урожай приблизительно в одно и то же время и одинаковым способом. Для составителя кадастра или налогового реестра ситуация была почти идеальной. Можно было оценить стоимость большей части земли в единой метрической системе; весь урожай собирался почти одновременно за небольшой промежуток времени и создавал лишь один товар; картографировать открытые поля, разделенные насыпями, получалось достаточно просто, хотя нелегко было соотнести земельные владения с соответствующим налогоплательщиком. Единообразие на полях, в свою очередь, порождало социальное и культурное единство, которое выражалось в структуре семьи, ценности детского труда и рождаемости, режиме питания, строительных стилях, сельскохозяйственных ритуалах и рыночных обменах. Общество, облик которого в значительной степени определяло монокультурное производство, было легче контролировать, оценивать и облагать налогами, чем любое другое с дифференцированными практиками хозяйствования. Представьте опять, будучи азиатским аналогом Кольбера, что вам нужно разработать систему налогообложения для многообразного поликультурного сельского хозяйства, производящего несколько видов зерновых, фруктов, орехов, корнеплодов, включающего в себя занятия скотоводством, рыбной ловлей, охотой и собирательством. Подобное разнообразие как минимум предопределяет различия в стоимости земельных участков, разные типы домохозяйств, рабочих циклов, режимов питания, жилой архитектуры, одежды, инструментов и рынков. Наличие столь пестрого спектра продуктов и «урожаев» существенно затрудняет создание какой-либо налоговой системы, не говоря уже о справедливой. Конечно, в целях аналитической ясности я слишком резко обозначил различия двух хозяйственных систем: ни одно из материковых аграрных государств не было монокультурным в полном смысле слова. Но чем ближе государство оказывалось к подобному состоянию, тем радикально проще ему было консолидировать управляемое государственное пространство.

Именно в заданном контексте следует трактовать напряженные усилия успешных бирманских династий по сохранению и расширению в засушливые зоны областей поливного рисоводства. За пределами рисовых центров находился менее продуктивный и более дифференцированный в сельскохозяйственном отношении ландшафт, который усложнял работу сборщиков налогов. Отчеты районов о доходах (*sit-tans*) сначала неизменно предоставляли информацию о рисовых землях, совершенно четко давая понять, что доходы от нерисовых территорий, где выращивали просо, кунжут, кокосовые пальмы, разводили крупный рогатый скот, занимались рыболовством и ремеслами, было труднее получить и по

сравнению с рисоводством они были незначительными[168]. Обор подоходных налогов с более рассеянного и в целом более бедного населения, чьи жизненные практики были более вариативными, оказывался особенно неблагодарной работой. И местным вождям было намного легче утаить от придворных чиновников и присвоить эти налоги. Колониальный режим в Бирме в неменьшей степени зависел от поливного рисоводства, даже когда налоги с этих районов стали собираться в денежной форме. Джон Фернивалл считает налоги с рисовых районов «основным ингредиентом» колониальной налоговой «диеты»: «Тем, чем рис является для кроткого индуса и любого тихого бирманца, макароны — для итальянца, говядина и пиво — для англичанина, всем этим и даже больше является земельный налог для *Левиафана Индийского*, того его вида, что населяет Индию; именно это — его пища, его хлеб насущный. Подоходный налог, таможенные пошлины, акцизные сборы и так далее... в крайнем случае он мог бы обойтись и без них, но без земельного налога он умер бы с голоду»[169].

Здесь опять мы сталкиваемся с различиями валового внутреннего и доступного государству продуктов. Как правило, сельское хозяйство, организованное государством или предприятиями с целью присвоения продукции, прежде всего демонстрирует признаки склонности к легкому учету и монокультурному земледелию. Монокультурные плантации, сегодня уже не существующие коллективные хозяйства социалистического блока, хлопковая издольщина после Гражданской войны на юге Соединенных Штатов, не говоря уже о созданных принудительно агрокультурных ландшафтах в ходе противоповстанческих кампаний во Вьетнаме и Малайе — яркие тому примеры. За ними редко скрываются модели эффективного или устойчивого сельского хозяйства, поскольку они задумываются как оптимальные форматы учета и присвоения агропродукции[170].

Политика стимулирования или навязывания четких аграрных пейзажей для присвоения получаемой продукции тесно связана с государственным строительством. Только подобные ландшафты приносили прямую выгоду и были легко доступны. Неудивительно поэтому, что усилия склонить народы к оседлому образу жизни посредством навязывания соответствующих видов сельского хозяйства (обычно рисоводства) демонстрируют поразительную преемственность — от доколониальных государств до их современных преемников. Вьетнамский император Минь Манг (1820–1841) «использовал все доступные методы, чтобы стимулировать обработку новых рисовых полей. Эти методы включали в себя разрешение тому, кто расчистил поле, использовать его как частное владение, стимулирование богачей выступать с инициативой и искать арендаторов для создания новых сельских поселений. Принципиальной задачей государства было сохранение контроля над населением. Бродяжничество всячески порицалось, лица без определенного места жительства закреплялись на конкретных земельных участках, где становились надежным источником налоговых поступлений, барщинного труда и живой силы для военной службы»[171].

Со своей стороны французские колониальные власти были заинтересованы в превращении свободных земель в места для посадки дающих доход и легких в учете сельскохозяйственных культур, в частности в плантации каучука. Французы стремились трансформировать финансово совершенно бесперспективные горы в пространство, которое будет *прибыльным и полезным*. Социалистический Вьетнам вплоть до сегодняшнего дня

сохраняет приверженность «оседлому сельскому хозяйству и образу жизни» (dinh canh dinh cu), вновь акцентируя внимание на поливном рисоводстве даже там, где это экологически бессмысленно. Прежний образ рисового государства оказался обречен с утопической идеей покорения природы посредством героического социалистического труда. В итоге возник лирический взгляд в будущее, «в завтрашний день, [в котором] заросшие лесами горы Тай Бак и травяные просторы будут выровнены и на них возникнут огромные поля риса и кукурузы». Как гласит другой смелый лозунг, «сила людей даже камни превратит в рис»[172]. Одним из мотивов этой широкомасштабной политики расселения было понятное желание проживающего в низменностях народа кинь воспроизвести знакомые ему сельскохозяйственные ландшафты и формы поселений. Как это часто бывает, попытка мигрантов использовать агротехнические приемы, непригодные для нового места проживания, привела к экологическим проблемам и человеческим страданиям. Другим аспектом этого утопического идеала было стремление вьетнамского государства воссоздать те ландшафты, которые делали возможными учет и присвоение продукции и которые поддерживали власть его доколониальных предков, по крайней мере начиная с династии Ли.

Искоренение вариативного сельского хозяйства

“ Враждебная, природа, строптивая, и по сути своей мятежная, представлена, в колониях густыми зарослями кустарников, комарами, туземцами и лихорадкой, и колонизация успешна в том случае, если вся эта непокорная природа в конце концов была приручена.

— Франц Фанон. Проклятые земли

Единственный пункт моего несогласия с язвительным замечанием Франца Фанона в адрес колониального проекта состоит в том, что оно, по крайней мере в отношении «густых зарослей кустарников» и «туземцев», легко применимо к доколониальной и постколониальной эпохам.

Расширение и заселение принадлежащего государству пространства было действительно трудной задачей, учитывая наличие открытых границ. Если изредка государство с ней справлялось, то только благодаря отсутствию иных альтернатив и привлекательности государственного пространства. Основной альтернативой поливному рисоводству в материковой части Юго-Восточной Азии исторически и даже сегодня является кочевничество (также известное как подсечно-огневое земледелие). В той степени, в какой оно способствует рассеянию населения, выращиванию разнообразных культур (включая корнеплоды и клубнеплоды) и периодической расчистке новых полей, подсечно-огневое земледелие было проклятием для всех государственных деятелей — прежних и современных.

Уже самое раннее государство региона, китайская империя по крайней мере начиная с династии Тан, стигматизировало подсечно-огневое земледелие и искореняло его при первой возможности. Хотя такой вид сельского хозяйства дает более высокий урожай в расчете на труд земледельца, полученный доход неподотчетен государству. Именно потому что подсечно-огневое земледелие было столь выгодно, оно постоянно искушало крестьянство, выращивающее рис и со всех сторон обложенное налогами, возможностью выбора альтернативных жизненных практик. Вдоль всей юго-западной границы Китая подсечно-огневых земледельцев стимулировали, а иногда и заставляли отказываться от этого вида сельского хозяйства в пользу оседлого выращивания зерна. Китайский эвфемизм XVII века, обозначающий инкорпорирование в государственное пространство, звучит как «попасть на карту». Он говорил о том, что человек стал подданным императора, поклялся ему в преданности и отправился в культурное путешествие, которое, по мнению ханьцев, в конце концов приведет к его ассимиляции. Однако в первую очередь переход от кочевого земледелия к оседлому предполагал, что домохозяйство было зарегистрировано и теперь фигурировало в официальных налоговых свитках[173].

Государственные фискальные императивы, которые лежат в основе стремления вьетнамского императора Минь Манга и китайских чиновников искоренить подсечно-огневое земледелие, в современную эпоху были подкреплены двумя соображениями: политической безопасности и контроля за ресурсами. Поскольку подсечно-огневые земледельцы не были встроены в систему государственного управления, хаотично перемещались через границы и всегда рассматривались как этнически обособленные, они воспринимались как источник потенциальной угрозы. Во Вьетнаме это привело к широкомасштабным кампаниям принудительного расселения и навязывания оседлого образа жизни. Другая современная причина запрета кочевого земледелия состоит в том, что оно вредит окружающей среде, уничтожает плодородный слой почвы, способствует эрозийным процессам и расходует ценные лесные ресурсы. Это в значительной степени разумное обоснование прямо заимствовано из политики доколониального периода. Но сегодня мы понимаем, что его послышки неверны, за исключением особых случаев. Ключевой мотив, составлявший суть данной политики, как выясняется, заключался в том, что государству было необходимо использовать земли для постоянных поселений, направлять доходы от добычи полезных ископаемых на собственные нужды и заставлять безгосударственных людей повиноваться. Как один государственный этнограф сообщил своему иностранному коллеге, целью его исследования горной экономики «было увидеть, как „кочевое“ подсечно-огневое земледелие может быть искоренено среди меньшинств»[174]. «Кампания по переводу кочевников на оседлый образ жизни» началась в 1954 году и в том или ином виде сохранялась в рамках доминирующей политики.

Та же политическая преемственность, даже если она и не реализовывалась последовательно, характерна для тайского государства на протяжении почти всей его истории. Николас Тапп, этнограф, изучавший хмонгов, утверждает, что меры по их переводу на оседлый образ жизни и оседлое сельское хозяйство, а именно политический контроль и «таизация», «представляют собой крайне консервативные стратегии, которые вот уже несколько столетий характеризуют взаимоотношения государственного населения и горных меньшинств региона»[175]. Попытки остановить подсечно-огневое земледелие стали более жестокими в разгар холодной войны в 1960-е годы, когда восстание хмонгов было

разгромлено генералом Прапасом с использованием артиллерии, вооруженных нападений и напалма. Несмотря на то что Вьетнам и Таиланд опасались подрывных действий диаметрально противоположных по своим идеологическим воззрениям сил, проводимая ими политика была на удивление схожей. Хмонгам предписывалось прекратить кочевое земледелие, и, как утверждает политический документ, чиновники должны были «убедить горные племена, жившие рассеянно [так сказано в оригинале], переселиться в районы, обозначенные в проекте, и начать там оседлый образ жизни»[176]. В подобных обстоятельствах государственное пространство обретало дополнительный смысл, который, впрочем, лишь усилил мотивацию уничтожить кочевые хозяйственные практики[177].

Наверное, самая продолжительная и жестокая кампания против подсечно-огневого земледелия, призванная заставить людей, его практикующих, переселиться в концентрационные лагеря вокруг военных баз или же, в случае неудачи, уехать за пределы страны в Таиланд, — это кампания бирманского военного режима против каренов. Вооруженным колоннам был дан приказ сжечь весь урожай на полях подсечно-огневых земледельцев или перебить все колосья и заложить противопехотные мины. Понимая, насколько успешное «выжигание» важно для урожая в таком типе земледелия, армия посылала подразделения, чтобы выжечь вырубку преждевременно и свести на нет все надежды на хороший урожай. Последовательно уничтожая кочевое земледелие как вид, а не отдельных его приверженцев, власти минимизировали шансы беглецов выжить за пределами государства[178].

Подобные совпадения политических решений на протяжении столетий, включая современную эпоху, а также в разных типах государственных систем — подлинное свидетельство того, что здесь задействован некий принципиально важный механизм государственного строительства.

E pluribus ипит (из многих — единое): креольский центр

Какой бы концентрации населения вокруг царского двора ни удавалось достичь рисовому государству, это всегда была сложнейшая победа в борьбе с серьезными демографическими препятствиями. Государство, полностью сфокусированное на решении задач получения рабочей силы, вряд ли могло тщательно отслеживать, кого именно инкорпорирует. В этом смысле «государство рабочей силы» — в принципе враг жестких и однозначных культурных различий и исключительности. Если выразиться более точно, то подобные государства обладали внятыми стимулами инкорпорировать всех, кого могли, и придумывать культурные, этнические и религиозные доктрины, которые помогали бы им осуществить задуманное. Этот факт справедлив для всех рисовых государств материковой и морской Юго-Восточной Азии и имел множество последствий для каждой из равнинных цивилизаций. Акцент на процессах включения и поглощения столь важен, что приводит к ошибочному восприятию классических бирманских и тайских государств как эндогенных, моноэтнических выражений культурного развития. Гораздо правильнее рассматривать

каждый государственный центр как социальное и политическое изобретение, как сплав, амальгаму, несущую в себе память о множестве элементов из разнообразных источников. Культура центра была незавершенным проектом соединения различных элементов, некоей условной векторной суммой разных народов и культур, которые решили идентифицироваться с ней или были вовлечены в нее силой. Можно сказать, что многие модели инкорпорирования были «взяты взаймы» у индийского субконтинента — шиваитские культы, браминские ритуалы, индусские судебные практики и буддизм, сначала Махаяны, а потом Тхеравады. Ценность обеих буддийских традиций, как считают Оливер Уолтере и другие авторы, заключается в том, что они подкрепляли претензии местных царьков на обладание сверхъестественной властью и легитимность и предоставляли универсализирующую модель для формирования новой гражданской идентичности из множества этнических и лингвистических фрагментов[179].

Если предложенная мной политическая перспектива и имеет смысл, то потому что радикально децентрирует любые сущностные трактовки «бирманства», «сиамства» и, коли на то пошло, «ханьства»[180]. Идентичность в центре государства была политическим проектом, разработанным, чтобы сплавить в единое целое собранные здесь разнообразные народы. Крепостные местных феодалов, рабы, захваченные в ходе военных действий или набегов работорговцев, земледельцы и купцы, прельщенные сельскохозяйственными и коммерческими возможностями, — все они формировали говорящее на множестве языков население. Наградой за инкорпорирование было то, что ассимиляция, браки между представителями разных групп и народностей и мобильность вследствие легко проницаемых социальных барьеров были относительно просты. Идентичность в подобных условиях оказывалась в большей степени результатом исполнения некоей роли, чем генеалогии[181]. Всякое рисовое государство, которое возникло и кануло в небытие в классический период, представляло собой результат действия принципа «карьера — для талантов». Культура каждого рисового государства со временем институционализировалась, и различия внутри нее были обусловлены тем заимствованным культурным и человеческим материалом, с которым ей пришлось работать. Если доколониальные царские дворы и были притягательны в культурном отношении, то именно благодаря своей способности поглощать мигрантов и пленников и через два или три поколения вплавлять их практики во всеохватывающую бирманскую или тайскую культурную амальгаму. Беглый взгляд на процесс культурного амальгамирования в тайском рисовом государстве, малайском регионе и классической Бирме заставит нас еще выше оценить способность государства рабочей силы к гибридизации[182].

Население центральной равнины, которая позже станет Сиамом, в XIII веке представляло собой сложнейшее смешение монов, кхмеров и тайцев, которые, в свою очередь, представляли собой «этничность-в-процессе-превращения» в подданных Сиама[183]. Виктор Либерман утверждает, что к середине XV века, в период Аюттхаи, в рамках управленческой элиты (*muangnai*) возникла самобытная «сиамская» культура, но, похоже, только здесь. Хотя придворная культура базировалась на кхмерских и палийских текстах, простой народ, как его описал португалец Томе Пиреш в 1545 году, говорил на монских, а не тайских диалектах, и обрезал волосы, как моны в Пегу. Практики формирования государства рабочей силы отчетливо просматривались и в конце XVII столетия, когда, как утверждается, более трети жителей центрального Сиама были «потомками иностранцев, в основном

пленников лао и монов»[184]. В начале XIX века королевский двор удвоил свои усилия, чтобы восстановить массовые потери населения в ходе бирманских войн. В результате «в общей сложности численность лао, монов, кхмеров, бирманцев и малайцев почти сравнялась с количеством тех, кто идентифицировал себя с подданными Сиам в центральной части страны. Крестьянские подразделения из жителей Пхуана и представителей народов лао, чам и кхмеров сформировали костяк регулярной армии и флота вокруг Бангкока. На плато Корат после мятежа короля Анувонга в 1827 году было расселено так много депортированных лао, что их количество вполне могло сравниться с общим числом говорящих на сиамском языке в королевстве»[185].

То, что характеризует бассейн реки Чао Прая, верно и для целого архипелага мелких тайских/шанских рисовых государств, разбросанных тут и там все дальше на север в горы. Общее мнение состоит в том, что мелкие тайские/шанские государства были политико-военным изобретением — в терминологии Кондоминаса *systeme a emboitement*, — в котором тайцев было достаточно мало. Эта точка зрения согласуется со свидетельствами, что и бирманцев было не так много — они сформировали первую, военную, элиту, обладавшую опытом и навыками государственного строительства. То, что завоевателей было немного, но они в конечном счете стали правителями, не должно удивлять тех, кто знаком с британской историей, поскольку подчинившая себе после 1066 года Британию норманнская элита состояла не более чем из двух тысяч семей[186]. Число тайских/шанских завоевателей росло благодаря таланту заключать союзы, поглощать, адаптировать и сочетать самые противоположные воззрения вошедших в создававшееся государство народов, что предполагало инкорпорирование остатков прежде существовавших политических систем (монов, лава, кхмеров), но прежде всего — поглощение огромного числа жителей высокогорий. Кондоминас считает, что захваченные в плен горные жители сначала становились крепостными, но затем, с течением времени, превращались в тайских простолюдинов, получавших право владеть рисовым полем. Те, кто был достаточно удачлив или искусен, чтобы захватить муанг, скорее всего, принимали тайское благородное имя, таким образом ретроспективно приводя свою генеалогию в соответствие с личными достижениями[187]. Большая часть населения в подобных государствах состояла из нетайских народов, а многие из тех, кто стал тайцем и буддистом, продолжали говорить на своем языке и сохранять свои обычаи[188]. Хотя сегодня принято считать, что качины стали шанами, качинский аспирант, попытавшийся доказать, что большинство шанов когда-то были качинцами, был недалек от истины[189]. Эдмунд Лич убежден, что шанское общество было не столько «„готовой“ культурой, распространившейся с юго-запада Китая, сколько сложившейся в местных условиях в результате экономического взаимодействия небольших военных колоний с коренными жителями гор в течение длительного времени». Он добавляет: «Существует множество доказательств, подтверждающих, что огромные группы людей, которых мы сегодня знаем как шанов, являются потомками горных племен, не так давно очень сложными путями ассимилированных буддийско-шанской культурой»[190]. Будучи сконструированы по тем же принципам, но в меньших масштабах, рисовые государства отличались разнообразием в этническом отношении, были экономически открыты и способны к культурной ассимиляции. В любом случае шанская идентичность связана с рисоводством и предполагает принятие подданства шанского государства[191]. Посредством поливного рисоводства «шанскость» и государственность тесно взаимосвязаны. Именно поливное рисоводство гарантирует территориальное закрепление

оседлого населения, что является основой военного превосходства, получения доступа к излишкам продовольствия и политической иерархии[192]. Кочевое земледелие, наоборот, предполагает нешанскую идентичность и фактически по определению проживание вдали от государства[193].

Бирманские государства, возникавшие с начала XI века на высокогорьях Бирмы, предопределили контуры классического аграрного государства рабочей силы. Их агроэкологическое размещение (как и в случае Красной реки во Вьетнаме), вероятно, было наиболее благоприятным для концентрации человеческих ресурсов и зернового производства. Центр государственного строительства, который должна была контролировать каждая правящая династия, состоял из шести районов, по четырем из которых (Кьяуксе, Минбу, Шуэбо и Мандалай) проходили постоянные водные потоки, обеспечивавшие экстенсивное круглогодичное орошение. Кьяуксе, само название которого содержит отсылку к поливному рисоводству, был самым богатым из районов. Уже в XII веке здесь были территории, на которых ежегодно выращивали по три урожая[194]. По оценкам Либермана, к XI веку в радиусе от восьмидесяти до ста миль от царского двора проживало несколько сотен тысяч человек[195].

Как и тайские королевства, Паган был политическим инструментом концентрации рабочей силы и зернового производства. В этом качестве он радушно принимал или захватывал поселенцев везде, где мог их найти, и привязывал их к царскому двору в качестве подданных. Как позволяют предположить хроники, в середине XIII века Паган был этнически мозаичен и, помимо моно, включал в себя бирманцев, кадусов, сгавов, канианов, палаунгов, вас и шанов[196]. Некоторые из них были привлечены возможностями, которые предлагала растущая империя, для других переселение означало «добровольную ассимиляцию билингвалов, жаждущих обладать общей идентичностью с имперской элитой»[197]. Впрочем, есть небольшие сомнения, что внушительная часть населения, в частности моны, были «призом» грабительских набегов, военных кампаний и насильственных переселений.

Удержание воедино государственного центра подобных масштабов, учитывая демографию того периода, было сложным предприятием. Открытые границы в сочетании с тяготами жизни внутри государства (налоги, воинские повинности, рабство) обуславливали необходимость постоянного восполнения неизбежной утечки населения посредством военных кампаний, чтобы заполучить пленников, и принудительной миграции. Если центру государства, будучи единожды созданным, удавалось сохраниться демографически до середины XIII века, то массовый исход населения после — возможно, потому что рисовая долина предлагала огромную концентрацию добычи монгольским завоевателям — оказывался столь катастрофическим, что империя распадалась.

Последняя до британского правления династия (Конбаун), как и все предыдущие, создала государство, одержимо стремившееся к заполучению рабочей силы. Правители воспринимали его как многоязычное царство, в котором клятва в верности и уплата дани считались признаком инкорпорирования. Моны, сиамцы, шаны, лаосцы, палаунги и паосы, как и бирманцы, исповедовали буддизм Тхеравады. Но, в отличие от исламских и христианских общин с собственными кварталами, мечетями и церквями, религиозный конформизм здесь не был условием политического единства. Оценки той доли, какую в

населении ранней империи Конбаун (в конце XVIII века) составляли пленники и их потомки, неизменно базируются на догадках. Тем не менее, скорее всего, эта доля составляла от 15 до 25 % от общей численности подданных государства примерно в два миллиона человек[198]. Крепостные, что вполне ожидаемо, в основном концентрировались вокруг царского двора и были заняты в царских службах, отвечавших за строительство лодок и ткачество, формировавших пехотные, оружейные, кавалерийские и артиллерийские подразделения армии. В качестве *ahmudan* (буквально — «выполняющих поручения») они отличались от *athi*, простого люда, с одной стороны, и от личных крепостных частных владельцев — с другой. В ближайших окрестностях царского двора его работники (большинство из них были манипури) составляли по крайней мере четверть населения.

Универсальный термин «рабочая сила» не позволяет оценить крайнюю избирательность отбора пленников и «гостей» по критерию полезности. Приведем самый известный пример: царь Оинбьюшин после разграбления Аюттхаи в 1767 году привел с собой почти тридцать тысяч пленников, в число которых вошли чиновники, драматурги, ремесленники, танцоры и актеры, большая часть королевской семьи и множество придворных литераторов. Результатом стал не только ренессанс бирманского искусства и литературы, но и формирование принципиально новой придворной культуры. Царская свита представляла собой многонациональную группу ценных специалистов: землемеров, создателей оружия, архитекторов, торговцев, кораблестроителей и счетоводов, а также инструкторов по строевой подготовке из Европы, Китая, Индии, арабского мира и регионов Юго-Восточной Азии. Потребность в квалифицированной рабочей силе или пехотинцах и земледельцах обычно перевешивала соображения жесткой культурной изоляции.

Сочетание сложной статусной иерархии с высокой мобильностью и ассимиляцией было в равной степени характеристикой Бирмы в период правления династии Конбаун и Бангкока в первые годы его существования в качестве столицы Сиама. Большинство бирманцев в некоей точке своей родословной могли обозначать себя как представителей бирманцев-шанов/монов/тайцев/манипури/араканцев/каренов и других горных народов. Если мы углубимся в историческое прошлое, то найдем убедительные аргументы в пользу того, что многие, если не большинство, бирманцы — результат культурного слияния цивилизаций Пиу и Бирмы. Рабы, попавшие в крепостную зависимость, должники и пленники, как и повсеместно в Юго-Восточной Азии, со временем становились простолюдинами. Отец Санджермано, который прожил более двадцати пяти лет в Аве и Рангуне в начале XIX века, отмечал тщательнейшую проработку в бирманских сводах законов особенностей разных типов личной зависимости. И он же утверждал, что «подобное рабство никогда не было пожизненным»[199].

Вечная озабоченность заполучением рабочей силы обуславливает легкость ассимиляции и высокую мобильность, а также очень подвижные и проницаемые этнические границы. Либерман высказывает крайне убедительное предположение, что часто воспринимаемое как война бирманцев с монами противостояние Авы и Пегу отнюдь таковой не являлось. В билингвальных районах Нижней Бирмы этническая идентичность была скорее вопросом политического выбора, чем генеалогической данности. Смена одежды, прически и, возможно, места жительства — и вот, пожалуйста, вы уже сменили свою этническую идентичность. По иронии судьбы в войсках, которые бирманский двор Авы послал на

покорение Пегу, монов было больше, чем бирманцев, а направленные позже (в 1752 году) из Пегу против Алаунпайи силы состояли в основном из бирманцев. Вот почему следует трактовать противостояние Авы и Пегу как региональный конфликт, в котором преданность конкретному королевству подавляла все иные соображения, а идентичность в любом случае была вещь достаточно конвенциональной[200].

В каждом из трех государств, которые мы рассмотрели, критерии религиозной, лингвистической и этнической принадлежности играли роль в стратификации в рамках политической системы. Однако для нас принципиально важно то, что ни один из них не был препятствием для вхождения в политическую элиту. Более того, каждый критерий мог достаточно быстро и неизбежно трансформироваться всего за два поколения. Повсеместно императив обретения рабочей силы оказывался врагом дискриминации и изоляции[201].

В некотором смысле рассматриваемое нами доколониальное государство является особым и исключительным примером государственного строительства в сложных демографических и технологических условиях. Если государству в принципе удавалось возникнуть, его правители были вынуждены сосредоточить свои усилия на концентрации подданных в относительно узкой географической зоне. Такие принципы конструирования государственного пространства, как доступность учета и присвоению, учитывались практически во всех политических проектах, независимо от того, осуществляли их государственные или негосударственные институты. Плантационное сельское хозяйство с его монокультурами и рабочими бараками, миссионерский пункт с колокольней и селящимися вокруг него прихожанами — разные типы контроля, но каждый нуждается в учете и мониторинге. Редкий проект становления государственности не изменяет ландшафт и принципы расселения и производства, чтобы достичь более высокой степени подотчетности и контроля. Первые колониальные режимы в своих кампаниях по усмирению коренного населения использовали принудительное переселение, искоренение подсечно-огневого земледелия и концентрацию подданных. Лишь постепенно всепогодные шоссе, железные дороги, телеграфные линии и надежные валюты обусловили возможность большего рассредоточения населения и производства при незначительных потерях в уровне контроля. В кампаниях по подавлению восстаний мы видим, в миниатюре, попытку максимально сконцентрировать внушавшее опасение население на подконтрольной территории, что нередко порождало фактически настоящие концентрационные лагеря.

Методы контроля населения

Рабство

“ Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства, и науки; без рабства не было бы и Рижской империи...

Нам никогда, не следует забывать, что наше экономическое, политическое и интеллектуальное развитие имеет своей предпосылкой такой строй, в

котором рабство было столь же необходимо, сколь и общепризнано. В этом смысле мы вправе сказать: без античного рабства не было бы и современного социализма.

— Карл Маркс[202]

Откуда появились люди, жившие на «государственном пространстве» в доколониальную эпоху? Первые теории, всё в большей степени утрачивающие к себе доверие, утверждали, что огромное число тайцев и бирманцев пришли с севера и вытеснили коренные народы. Однако, оказывается, очень незначительное количество тайцев и бирманцев установили политическое господство в тех зонах поливного рисоводства, которые сочли для себя подходящими[203]. Эти рисовые государства, несомненно, поглотили жившие здесь прежде народы, ровно так же как государственные образования Пиу и Мон в период мирной экспансии привлекали мигрантов, ищущих здесь социального положения, работы или торговых перспектив. Что самое удивительное, ни одно из рисовых государств не достигло расцвета, за исключением тех, что занимались широкомасштабными набегами с целью захвата рабов. В соответствии с историческим стереотипом и перефразируя высказывание Карла Маркса о рабстве и цивилизации, можно сказать, что ни одно государство не могло существовать без концентрации рабочей силы, что оно было невозможно без рабства; соответственно, все первые государства, включая морские державы, были рабовладельческими.

Справедливо поэтому назвать рабов самой важной «торговой культурой» в доколониальной Юго-Восточной Азии — самым востребованным товаром в коммерции региона. Практически каждый крупный торговец был в то же время охотником за рабами или их покупателем. Каждая военная операция, каждая карательная экспедиция были одновременно и кампаниями по захвату пленников, которых могли покупать, продавать или оставлять себе. Этот поведенческий паттерн был настолько устойчивым, что, когда Магеллан был убит во время своего кругосветного путешествия, ответственные за это преступление филиппинцы отловили часть его команды и продали в рабство на острова. Когда бирманцы захватили портовый город Оириам у португальских поселенцев в начале XVII века, они собрали выживших европейцев и насильно переселили их в деревни недалеко от столицы Авы. Юго-восточно-азиатские государства демонстрировали исключительную широту взглядов, когда речь заходила об обретении рабочей силы.

Только оттягивая население с периферии, разрастающиеся рисовые государства могли добиться такой его концентрации в центре, какая была необходима для его доминирования и защиты. Данный процесс имел паньюго-восточно-азиатский характер и обладал системными чертами. Энтони Рид, автор принципиально важного исследования рабства, объясняет происходившее следующим образом: «До возникновения в XIX веке контрактной формы трудовых отношений перемещение пленников и рабов было важнейшим ресурсом трудовой мобильности в Юго-Восточной Азии. Обычно оно имело форму переселения людей из слабых, политически фрагментированных социальных систем в более сильные и богатые. Древнейшим и демографически наиболее значимым видом территориальной мобильности были приграничные набеги более сильных, занимавшихся поливным рисоводством земледельцев из речных долин на исповедовавших анимизм подсечно-огневых

земледельцев и охотников-собирателей»[204]. Другое описание происходившего: систематическое перемещение пленников из безгосударственных пространств, особенно горных районов, чтобы расселить их на государственных территориях или рядом с ними. Этот паттерн вполне различим в Камбодже уже в 1300-х годах и прослеживается в некоторых регионах (например в Малайзии) вплоть до XX века. Гибсон утверждает, что примерно до 1920-х годов большую часть городского населения Юго-Восточной Азии составляли рабы или их потомки (зачастую во втором или третьем поколении)[205].

Доказательства повсеместны. В качестве иллюстрации приведем тайский мир, где три четверти населения в королевстве Чиангмай в конце XIX века составляли военнопленные. В Чиангсаене (Каинг Хсене) примерно 60 % жителей были рабами; в Лампхуне — семнадцать тысяч из общего количества подданных в тридцать тысяч. Сельские элиты тоже держали рабов в качестве рабочей силы и в свите. Рабов они либо сами захватывали в ходе войн, либо покупали у занимавшихся набегами работорговцев, которые прочесывали горные районы, похищая всех, кого могли[206]. Чтение дворцовых историй и хроник тайских и бирманских королевств обычно представляет собой знакомство с длинными перечнями набегов, успешность которых измерялась количеством и искусностью пленников. Бунты и отказы предоставить требуемую дань часто наказывались разграблением и сожжением мятежного района и депортацией его подданных в государственный центр победителя. Когда правитель Оонгкхлы после первоначального отказа в конце концов все же явился в Аюттхаю с данью, король приказал захватить всех жителей Оонгкхлы и в качестве рабов расселить вблизи столицы. Масштабы рабства куда более понятны историкам, чем другие реалии, потому что захват рабов был прямой задачей государственного строительства.

Конечно, в описанных политических системах были и иные, чем плен, пути превращения в раба. Широко практиковалось долговое рабство, когда должник и/или члены его семьи становились «рабами» кредитора до тех пор, пока долг не был погашен. Дети продавались в рабство родителями, а осужденные преступники приговаривались к рабству в качестве наказания. Однако если бы подобные варианты обращения в рабство охватывали большинство его возможных социальных источников, скорее всего, почти все рабы принадлежали бы той же культуре, что и их хозяева, и отличались бы от них лишь своим социальным статусом. Но это было не так, что показала Кэтрин Воуи для северного Таиланда: большинство рабов здесь и, как выясняется, повсеместно были выходцами из культурно совершенно особых горных районов и попадали в рабство в ходе набегов как военные трофеи[207].

Сложно сегодня вообразить масштабы рабства и его последствия[208]. Экспедиции за рабами были привычным коммерческим предприятием каждого сухого сезона на большей части материка. В результате пиратских вылазок, отдельных похищений и широкомасштабных депортаций (например, шесть тысяч семей были принудительно переселены в Таиланд после захвата Сиамом Вьентьяна в 1826 году) целые регионы фактически обезлюдели. Воуи цитирует исследователя конца XIX века А. Р. Колкухоуна, который сделал ряд замечаний относительно масштабов рабства и его последствий для общества:

■

Практически нет сомнений в том, что рассеяние горных племен в горных районах вблизи Зимме (Чиангмай) в значительной степени обусловлено тем, что в прежние времена на них систематически охотились, как на диких зверей, и поставляли на рабовладельческий рынок...

Захваченные в плен становятся рабами в полном смысле этого слова; их закабаляют без какой-либо надежды на освобождение, кроме как в случае смерти или побега. На них устраивают засады, потом плененных угоняют прочь, как охотники — лань, вырывают из лесов, заковывают в кандалы и ведут в главные города страны Шан [Чиангмай], Сиама и Камбоджи на продажу[209].

Различаясь своими агроэкологическими характеристиками, горы и долины по определению были торговыми партнерами. Но, увы, самым важным товаром гор для разрастающихся равнинных государств стали люди[210]. Этот способ (охота) обретения рабочей силы был настолько прибыльным, что горные народы и немало горных сообществ целиком оказались вовлечены в работорговлю. Население долин прирастало не только за счет военнопленных и карательных переселений, но и по сути благодаря коммерческим экспедициям за рабами. Горные сообщества нередко распадались на два типа: одни были настолько слабы и фрагментированы, что служили прекрасным источником рабов в ходе набегов на них, то есть были добычей; другие высокогорные группы, наоборот, организовывали набеги и часто были работорговцами, то есть хищниками. Народности акха, палаунг и лису, например, скорее входят в первый тип горных сообществ, тогда как, временами, карены и качины — во второй. Захват и продажа рабов составляли настолько принципиально важный фундамент экономики качинов, что один из первых колониальных чиновников был убежден, что «рабство — национальный обычай качинов»[211]. Карены, наоборот, выступали то в качестве добычи, то как хищники[212].

Как это часто случается с основным товаром, рабы фактически превратились в мерило оценки стоимости прочих товаров. Стоимость раба в Чинских горах в конце XIX века составляла четыре головы крупного рогатого скота, одно хорошее оружие или двенадцать свиней. «В горах рабы были денежной единицей и переходили из рук в руки столь же легко, как банкноты в более цивилизованных регионах»[213]. Тесная взаимосвязь гор и социального происхождения рабов отчетливо прослеживается благодаря тому факту, что обозначения рабов и горных народов нередко взаимозаменяемы. Как отмечает Кондоминас, в основе названия тайского королевства лежит *Sa* или *ха* из вьетнамского языка, а также его эквивалент *Mia* из сиамского и лаосского языков. Этот термин «можно перевести как „раб“ или „горное племя“, в зависимости от контекста»[214]. Аналогичным образом обозначение дикаря или варвара во вьетнамском языке, *тог*, имеет неизбежные коннотации, связанные с рабством, и в доколониальную эпоху Центральное нагорье Вьетнама называлось *rung тог*, или «леса дикарей». Кхмерское обозначение варвара, *phnong*, имеет те же коннотации[215].

Память о набегах за рабами хранят многие современные горные сообщества. Она закреплена в легендах и мифах, рассказах о похищениях, которые нынешние поколения слышали от своих отцов и дедов, а иногда и в личных воспоминаниях стариков. Так, группа каренов пво рассказывает о постоянных похищениях из районов вокруг Молямьяна и насильственном перемещении в качестве рабов в тайские княжества. Когда карены хотят заставить своих детей вести себя хорошо, они пугают их, говоря, что придет таец и утащит их[216]. У народа ламет, проживающего сегодня в Лаосе, сохранилась коллективная память о набегах бирманцев, которые окрашивали свои волосы известью, чтобы легко опознавать друг друга. В ответ ламеты отступали в окруженные рвами деревни на горных хребтах, чтобы не быть захваченными в рабство[217]. Очевидно, что культура некоторых групп испытала существенное влияние боязни попасть в рабство и соответствующих контрмер. Лео Альтинг фон Гойзау убедительно показал это на примере народа акха на тайско-юньнаньской границе, чьи обряды врачевания воспроизводят захват жителями равнин и в конечном итоге освобождение. Как и ламеты, акха считали себя слабой группой, которая должна все время изворачиваться и держаться подальше от равнинных центров власти[218].

В данном контексте отличие набегов с целью захвата рабов от войн становится почти теологическим вопросом. Широкомасштабные военные действия велись против других царств, и тогда существование государства и правящей династии оказывалось под угрозой. В мелких войнах не так много было поставлено на карту, но в любом случае проигравшая сторона понимала, что большая часть населения будет сметена с ее территории и угнана на территорию победителя. В случае экспедиций в горы за рабами военное искусство уступало свои позиции и превращалось в обычные облавы, нацеленные на слабо организованные группы, которым оставалось только по-партизански защищать себя или же скрываться бегством. Наградой победителю во всех трех случаях была рабочая сила: война была опасной оптовой азартной игрой; рабовладельческие рейды были менее опасной, но тоже вооруженной розничной торговлей. Вот почему можно уверенно и вполне корректно называть бирманские и тайские государства как «военными», так и «рабовладельческими».

Захват рабов был не только важнейшей стратегической задачей войны, но и личной целью офицеров и солдат. Существовали армии, полностью ориентировавшиеся на захват добычи. Из военных трофеев только слоны, лошади, оружие и амуниция предназначались бирманской короне. Все прочее — дети, женщины, мужчины, крупный рогатый скот, золото, серебро, одежда и продовольствие — переходило в собственность захвативших их солдат, которые имели право распоряжаться награбленным по своему усмотрению. Хроники Стеклянного Дворца королей Бирмы сообщают, что в ходе нападения в конце XVIII века на Линзин (Вьентьян) пехотинец, захвативший в качестве личной добычи сорок пленников, продал одного из них королю, который счел, что из пехотинца выйдет хороший солдат[219]. Не стоит воспринимать подобные армии как унифицированные бюрократические организации, коллективно подчинявшиеся воле командующего, — скорее, это были совместные, пусть и опасные, торговые предприятия, от которых их многочисленные инвесторы и участники ожидали получить прибыль. Эта модель соответствует описанию Максом Вебером ряда досовременных войн как «грабительского капитализма»: спекулятивные войны ради получения прибыли, в которых у инвесторов есть четкое понимание, как будут распределены доходы, если предприятие окажется успешным. Если

принять во внимание, что армии должны были обеспечивать себя всем необходимым на пути к своей военной цели, можно представить, насколько разрушительными и устрашающими они были. Армии, некоторые чрезвычайно крупные, на всем протяжении своего пути нуждались в повозках, быках, буйволах, носильщиках, рисе, мясе и новобранцах (чтобы заменять дезертиров!). Следует добавить к этому списку требований армии к «окружающим землям, за счет которых следовало жить», грабеж и уничтожение посевов и жилищ пленников, чтобы последним некуда было возвращаться, и станет понятно, что подобные войны были крайне разорительными, хотя и необязательно кровопролитными[220].

Определенная доля пленников, насильно угнанных на территорию победителя, становилась частной, а не королевской собственностью. Вapolучение человеческих ресурсов было не только задачей государственного строительства, но и важным индикатором социального статуса, который выражался в размере личной свиты. Элиты прилагали все силы, чтобы аккумулировать критическую массу крепостных посредством долгового рабства и покупки рабов, для упрочения своего статуса и богатства. Корона, богатые семьи и религиозные общины (например буддийские монастыри) соперничали друг с другом за доступные источники рабочей силы. На более высоком уровне целые рисовые государства боролись за население, которое было единственной гарантией их власти. Так, после падения Пегу Сиам и Бирма постоянно конфликтовали по поводу того, кто из них имеет монопольные права на монов и каренов, проживавших на территории между ними. Ава и Чиангмай в схожей ситуации соперничали за каренов и лава. Подобные конфликты не всегда выливались в военное противостояние. Время от времени, почти как агенты по продаже недвижимости в ситуации выгодной покупателю рыночной конъюнктуры (большого количества предложений), государства сулили выгодные условия тем, кто соглашался оказаться под их крылом. Так, власти Северного Таиланда обещали каренам и лава освобождение от барщины и налогов на все то время, пока те будут жить на выделенной им территории, платя ежегодную дань ценными горными продуктами. Однако алчность хищных районных чиновников, военачальников и промышленяющих набегами работорговцев приводила к тому, что даже правителю с самыми добрыми намерениями редко удавалось сдержать подобное обещание. В этом смысле проклятие правителя Чиангмая «да будет уничтожен тот, кто притесняет народ лава» следует воспринимать наоборот — как признание собственной неспособности заставить выполнять свои требования[221].

Пока машина по производству рабочей силы работала нормально и правящая династия привлекала или, что более вероятно, захватывала население темпами, которые намного превышали показатели демографических потерь, государство волей-неволей становилось космополитическим. Чем более разнообразные группы оно поглощало, тем в большей степени его столица демонстрировала культурные и лингвистические признаки смешения народов. По сути, подобная культурная гибридизация была условием политического успеха. Так же как малайское прибрежное государство, с его малайским языком и исламским мировоззрением, было исключительно своеобразным благодаря вобранным культурным потокам, тайские и бирманские рисовые государства отражали культуры тех народов, которых они инкорпорировали или захватили, культурно связав их воедино буддизмом Тхеравады и единым языком.

Усилия рисовых государств по концентрации населения были опасны и рискованны по целому ряду причин. Во-первых, безусловно, демография работала против них. Население всегда по причинам, которые будут детально рассмотрены ниже, стремилось от них ускользнуть. Большая часть истории любого рисового государства представляет собой маятниковое колебание — от притока населения к его исходу. Если корона вдруг оказывалась неспособна пополнить число подданных, комбинируя захваты военнопленных с экспедициями за рабами и соблазнением имеющимися в центре государства коммерческими и культурными возможностями, это грозило ей фатальным снижением демографического и военного потенциала. Упадок возрожденного королевства Таунгу после 1626 года и королевства Конбаун после 1760 года, по сути, обусловлен все тем же дисбалансом. После череды завоеваний первых правителей возрожденного королевства Таунгу установившийся длительный период мира означал, что государство не получало новых пленников для восполнения потерь подданных, которые сбегали от «сверхэксплуатации» из «центра страны». Распад в 1780-е годы королевства Конбаун при короле Водопайе был обусловлен не столько пассивностью, сколько неудачными вторжениями на сопредельные территории и беспрецедентными масштабами трудовых наборов на общественные работы, которые превратили нормальный отток подданных из центра государства в сокрушительный для власти массовый исход[222].

Во-вторых, сумасшедшая гонка за рабочей силой, если взглянуть на нее внимательнее, была, по сути, игрой с нулевым исходом, что особенно ярко проявлялось в войнах рисовых государств, когда выигрыш победителя обычно точно равнялся потерям проигравшего. И в случае рабовладельческих экспедиций в горы небольшое число крошечных царств соперничали за один и тот же ограниченный резерв пленников. И наконец, правители рисовых государств систематически теряли значительную долю доступного им зерна и населения, поскольку были не способны преодолеть сопротивление и уклонение от уплаты налогов собственных элит и простого народа. Обратимся теперь к этой политической дилемме и парадоксу, который состоял в том, что, если подобное сопротивление жестко подавлялось, это приводило к массовому оттоку населения, а его последствия для государства были еще более катастрофичными.

Налоговая подотчетность

Эффективная налоговая система предполагает в первую очередь, что объекты налогообложения (люди, земля, торговля) учтены. Переписи населения и кадастровые карты плодородных земель — ключевой административный инструмент учета объектов налогообложения. Как и в указанном выше различии валового внутреннего и доступного государству продукта, аналогичным образом важно понимать разницу между всем населением и тем, что Джеймс Ли называет «налогооблагаемым», то есть административно учтенным[223]. Также следует проводить черту между реально обрабатываемой землей и торговлей, с одной стороны, и «налогооблагаемым землевладением» и «налогооблагаемой торговлей» — с другой. Безусловно, только административно учтенная («налогооблагаемая») земля и население могут быть оценены и потому доступны государству. Величина зазора между налогооблагаемыми и неподотчетными ресурсами позволяет примерно оценить эффективность налоговой системы. В досовременных политических системах этот зазор был значительным.

Попытка детализированного налогового учета была предпринята по указу бирманского короля Талуна в начале XVII века, «чтобы записать все земли, которые обрабатываются, а потому налогооблагаемы; имена, возраст, пол, дни рождений и количество детей у людей; штат и земли разнообразных королевских служб; местных чиновников и находящиеся в их управлении земли, а также границы их юрисдикции»[224]. Фактически король хотел провести полную инвентаризацию своих налогооблагаемых ресурсов. Как и все подобные описи, как бы аккуратно они ни составлялись, данная инвентаризация дала лишь мгновенный снимок, который очень скоро перестал отражать реалии, изменившиеся вследствие передачи земель, перемещений населения, наследственных отношений и т. д. Ряд королевских указов был призван обеспечить достоверность описей, запрещая те виды социальных обменов, которые могли существенно исказить имевшиеся сведения. Подданным запрещалось переезжать без разрешения, менять свой гражданский статус с простолюдина или царского слуги на крепостного. Относительная устойчивость поливного рисоводства и характерного для него «налогооблагаемого» домохозяйства, возглавляемого старшим мужчиной в семье, также способствовала строгому учету налогооблагаемых ресурсов в центре страны[225].

Помимо и сверх неизбежных сложностей досовременного налогового учета, монарх сталкивался и с более систематическими и неразрешимыми структурными проблемами. Правитель находился в отношениях прямой конкуренции со своими чиновниками, знатью и священнослужителями за трудовые ресурсы и зерно. Хотя королевские слуги (*ahmudan*) были самой легкодоступной для правителя рабочей силой, их ряды постоянно редели. Каждый слуга был заинтересован в изменении своего статуса на менее обременительный и подконтрольный. Для этого было несколько возможностей: стать простолюдином (*athi*) или личным слугой сильного покровителя, попасть в долговое рабство или влиться в ряды огромного числа неучтенного, «блуждающего» населения. Королевские чиновники и влиятельная знать содействовали всеми доступными способами подобному изменению налогооблагаемого статуса королевских слуг, потому что это позволяло им изымать высвобождаемые ресурсы в пользу собственных свит и налоговой базы[226]. Многие своды законов королевства Конбаун препятствовали подобному движению в сторону налоговой невидимости и, соответственно, в интересах других элит. Читая столь же длинный, сколь скучный, перечень запретов в отношении зерна, понимаешь, что королевское правление вряд ли было очень успешным.

Правители тайских княжеств боролись с тем же стремлением своих чиновников, знати и религиозных властей присвоить налоговые ресурсы короны. Так, основатель королевства Ланна в Северном Таиланде, король Манграй, объявил, что «беглецам из королевских придворных служб, которые пытаются уйти от исполнения своих обязанностей, не позволено становиться рабами [кого-либо еще, кроме короля]»[227].

Тайские и бирманские правители в эпоху до изобретения внутренних паспортов и удостоверений личности предпочитали татуировать большинство мужского населения, чтобы неуничтожимым способом фиксировать статус человека. Солдаты, добровольно или принудительно завербованные в армию Конбауна, получали татуировки, свидетельствующие об их статусе военнообязанных[228]. Тайны также использовали татуировки: тайским рабам и крепостным на запястье делалась татуировка, символически

обозначавшая, чья они собственность — короля или знатного сановника. Если раб принадлежал сановнику, то имя последнего указывалось на татуировке, ровно так же как клейма крупного рогатого скота содержат указание на его владельца[229]. Захваченным в ходе военных действий каренам наносились татуировки, говорившие об их статусе военнопленных. Система татуировок привела к появлению охотников за головами — они прочесывали леса, чтобы найти беглецов и вернуть их «законным» владельцам. Перечисленные меры свидетельствуют не только о том, что контроль рабочей силы был по многим причинам более важной задачей, чем учет земель, но и о том, что решить первую задачу было куда сложнее.

У королевских чиновников и местных старост были и более банальные причины для использования хитроумных способов отъема ресурсов у короны, их «приватизации» и грабежа. Например, численность населения в официальных отчетах, что показали первые колониальные переписи, была значительно занижена. За определенную плату чиновники изымали упоминания о земле из земельных реестров, присваивали неаккуратно учтенные земли короны, умалчивали о налоговых поступлениях и не включали домохозяйства в налоговые перечни. Вильям Кёниг полагает, что корона таким образом теряла от 10 до 40 % своих доходов. Он ссылается на случай, когда после пожара в Рангуне в 1810 году чиновникам было дано указание составить список новых построек, но они не включили в реестр тысячу из двух с половиной тысяч домов[230]. Результатом подобных действий стало не что иное, как снижение налоговой нагрузки на простой народ. Пожалуй, это было изменение в модели распределения доходов государства, которое в перспективе имело разрушительные последствия и для короны, и для простолюдинов.

Сталкиваясь с постоянным сокращением своей налоговой базы в результате открытого бегства населения и описанной выше налоговой «невидимости», правителю рисового государства было крайне сложно удержать его от распада. Одним из доступных способов справиться с этой задачей была военная кампания, призванная добыть пленников и восполнить постоянно утекающее население. Плюсом новых военнопленных было то, что многие из них пополняли ряды придворных слуг и потому, по крайней мере первоначально, служили непосредственно короне. Гипотетически это объясняет стремление рисовых государств превращаться в военные: только с помощью войны правитель обретал шанс одним махом возместить отток рабочей силы. Менее масштабные рабовладельческие рейды в горы и набеги на периферийные деревни представляли меньшую опасность, но, соответственно, сокращался и размер добычи. Широкомасштабные войны могли обеспечить государству много тысяч пленников. Но, хотя военные кампании могли быть вполне рациональной стратегией конкретной правящей династии, на систематической основе она превращалась в иррациональную: война двух рисовых государств всегда заканчивалась тем, что проигравший нес катастрофические потери населения.

Государственное пространство как самоликвидирующееся

Самые внимательные историки, изучающие досовременные государства Юго-Восточной Азии, были поражены их хрупкостью, скоротечностью процессов их роста и распада. Виктор

Либерман описывает их как «конвульсивные образования», а Оливер Уолтере применяет термин *concertina* — «гармошка»[231]. В заключительном параграфе этой главы я хочу подтвердить и расширить аргументацию Либермана, утверждающего, что хрупкость и неустойчивость этих государств были обусловлены систематическими структурными причинами.

В иллюстративных целях рассмотрим прямую логику «самоликвидации» на примере противоповстанческой политики современной военной диктатуры в Бирме. Военные подразделения пытаются контролировать большую часть мятежного приграничного региона, причем их испытывающие финансовые затруднения военачальники приказывают им самостоятельно добывать себе все необходимое в местах дислокации. Таким образом, и это немного походит на досовременные государства, военные подразделения должны сами находить себе рабочую силу, финансы, строительные материалы и продовольствие, чтобы выжить в суровых и враждебных природных условиях. Обычно они решают эту задачу, захватывая и расселяя вокруг своего лагеря значительное число гражданских лиц, которые формируют доступный для армии резерв рабочей силы, зерна и доходов. Гражданские лица пытаются бежать — в первую очередь самые бедные из них, кто не может откупиться от принудительного труда, выплатить вымогаемые поборы или отдать требуемое зерно. Вот как школьный учитель из каренов описал ситуацию исследователю в области прав человека: «Вдоль дороги... вглубь равнин существовало множество деревень, но большие села превратили в маленькие деревушки, а небольшие — в леса. Многие жители переехали в [другие] города или сюда [в горы], потому что ГОМР (Государственный совет мира и развития) [военное правительство] требует от них очень много налогов и принуждает к всевозможным видам работ»[232]. Последствия для оставшихся предсказуемы: «Поскольку жестокость нарастает, но уже по отношению к меньшему числу людей, менее уязвимые становятся все более уязвимыми и со временем вынуждены и сами бежать»[233].

Различные вариации представленной аргументации относительно досовременных тайских и бирманских государств приведены в работах Рабибхадана, Либермана и Кёнига[234]. Сердце центрального региона рисового государства формирует наиболее учтенная и доступная концентрация зерна и рабочей силы. Поскольку по прочим показателям этот район не отличается от остальных, самое важное здесь — именно население, из которого проще и эффективнее всего выжимать ресурсы, необходимые государству и его элите. Власть всегда сталкивалась с искушением возложить наиболее тяжелое налоговое бремя на население центра страны, а потому это была самая охраняемая ее территория. Так, в период правления королей Конбауна жители Мандалая и Авы были самыми «обираемыми» (в плане барщины и зерна), тогда как население отдаленных территорий отделялось небольшой данью. Если вспомнить, что внушительная часть населения центра страны всячески обиралась еще чиновниками и знатью, то становится понятно, что налоговое бремя распределялось по подданным непропорционально, ложась тяжелым грузом на плечи прежде всего королевских слуг, многие из которых были потомками пленников и простолюдинов, вписанных в налоговые реестры. Это население выполняло для государства в целом функцию гомеостатического клапана: если давление на него возрастало, то повышалась и вероятность того, что оно просто-напросто сбежит за пределы досягаемости государства или же, что случалось намного реже, поднимет восстание.

Либерман приводит множество примеров срабатывания этого механизма, свидетельствующих, что рисовые государства убивали курицу, несущую им золотые яйца. В конце XVI века король Пегу (сын известного Вайиннауна), брошенный многими из своих давно завоеванных, далеко расположенных данников, в отчаянии был вынужден увеличить поборы с жителей центра страны, заставляя монахов служить в армии и казня дезертиров. Но чем более жесткие меры он применял, тем больше населения терял. Земледельцы массово исчезали, становясь личными слугами знати, попадая в долговое рабство или сбегая в горы и другие королевства. Оставшись без производителей зерна и солдат, Пегу в конце столетия был разграблен врагами[235]. Вероятно, самый заметный недавний распад государства пришелся на начало XIX века. Хотя королевство было богато пленниками в результате завоеваний Алаунпайи и лишения им своих соперников собственности, налоговое бремя на население, усугубленное засухой и неудачным вторжением в Сиам, привело к массовому исходу жителей[236]. Падение династии Чинь в начале XVIII века также укладывается в эту модель. Нарастающая автономия местной знати позволяла ей избегать уплаты налогов и присваивать труд и собственность, которые предназначались государству. В результате «налоговое ярмо тянуло все меньше людей, которые в то же время были наименее платежеспособными»[237]. Широкомасштабный отток населения и мятежи не заставили себя ждать.

Королевские советники, безусловно, так или иначе понимали суть структурных проблем, с которыми сталкивались. Об этом свидетельствуют поговорки о рабочей силе, их усилия по предотвращению оттока человеческих ресурсов и зерна к государственным чиновникам, их попытки более тщательного учета имеющихся в распоряжении государства ресурсов и поиска иных источников доходов. Зная все это, можно было бы предположить, что искусство государственного строительства заключается в умении как можно точнее улавливать направление ветра, то есть изымать ресурсы чуть меньше того объема, который спровоцирует бегство населения или бунты. В ситуации отсутствия череды успешных с точки зрения захвата пленников войн и набегов это была наиболее разумная стратегия[238].

Однако досовременное государство не могло подобным образом смирять свои аппетиты по крайней мере по трем причинам. Относительную важность каждой из них сложно оценить, и в любом случае она может существенно меняться в зависимости от ситуации. Первая причина проста: государства не обладали тем типом структурированной информации, которая позволила бы им принимать тщательно выверенные решения, особенно потому что многие чиновники имели свои причины обманывать корону. Урожай в принципе можно было бы просчитать относительно точно, но не действия чиновников. Во-вторых, налоговый потенциал населения значительно менялся, как и в любой аграрной экономике, от сезона к сезону, завися от колебаний урожайности вследствие погодных условий, сельскохозяйственных вредителей и болезней растений. Воровство и бандитизм также играли здесь значимую роль: густые насаждения зерновых были столь же большим искушением для банд воров, бунтовщиков и соседних держав-соперников, как и для государства. Используя каждый год новый принцип вариативной оценки налоговой платежеспособности земледельцев, корона была бы вынуждена жертвовать собственными налоговыми интересами ради благосостояния крестьян. Имеющиеся доказательства говорят об обратном: доколониальные и колониальные государства стремились гарантировать себе стабильный уровень доходов за счет собственных подданных[239].

Существуют свидетельства, которые будут детально рассмотрены позже, подтверждающие, что демография и агроэкология государственного пространства определяют его уязвимость перед лицом нестабильных поставок продовольствия и эпидемий. Если вкратце, то сконцентрированное в одном месте монокультурное сельское хозяйство менее экологически устойчиво, чем рассеянные по территории смешанные посадки. Первые более подвержены болезням, у них меньше природных возможностей противостоять неурожаю, они способствуют размножению вредителей-спутников. Примерно то же самое можно сказать о скученности населения и проживании вместе с домашним скотом и птицей. Мы знаем, что большинство эпидемических болезней — зоонотические, то есть передаются от домашних животных человеку и наоборот; что темпы воспроизводства городского населения на Западе были недостаточными вплоть до середины XIX века; что злаковый рацион первых аграрных обществ в питательном отношении уступал смешанной диете, которую он вытеснил; и наконец, у нас достаточно свидетельств неурожаев, вспышек голода и эпидемий холеры в доколониальной Юго-Восточной Азии. Хотя несколько умозрительно, но можно предположить, что сама по себе концентрация риса и населения в границах государственных пространств несла в себе серьезные риски.

Третья причина, хотя она и кажется очевидной, — чрезмерная капризность политической системы, в которой король, по крайней мере теоретически, был всемогущ. Нет никаких рациональных причин для разорительного вторжения Водопайи в Сиам сразу после эпидемии голода, для широкомасштабного использования барщины в 1800-х годах, чтобы построить сотни пагод, включая пагоду в Мингуне, которая должна была стать самой большой в мире[240]. Помимо уже перечисленных структурных и экологических причин неустойчивости доколониальных династий, следует назвать также дополнительный фактор — своевольное тираническое правление, которое не было институционально закреплено.

Неудивительно, что рисовые государства были хрупки и недолговечны. Учитывая те демографические, структурные и личные препятствия, с которыми они сталкивались в длительной исторической перспективе, удивительно другое — изредка им все же удавалось просуществовать настолько долго, чтобы сформировать выдающуюся культурную традицию.

Версия #2

Зверобой создал 17 апреля 2025 22:46:04

Зверобой обновил 17 апреля 2025 22:57:32